

ТОТ ДЕНЬ

Иногда я пытаюсь вспомнить первые прикосновения к миру, вспомнить с надеждой, что может вернуть меня в наивную пору удивлений, восторга и первой любви, вернуть то, что позднее — зрелым человеком, никогда не испытывал так чисто и пронзительно.

С каких лет я помню себя? И где это было? На Урале, в Оренбургской степи?

Когда я спрашивал об этом отца и мать, они не могли точно восстановить в памяти подробности давнего моего детства.

Так или иначе много лет спустя я понял, что пойманное и как бы остановленное сознанием мгновение сверкнувшего настроения — это чудотворное соприкосновение мига прошлого с настоящим, утраченного с вечным, детского со взрослым, подобно тому, как соединяются золотые сны с явью. Однако, может быть, первые ощущения — толчок крови предков во мне, моих прапрадедов, голос крови, вернувшей меня на сотни лет назад, во времена какого-то переселения, когда над степями носился по ночам дикий, разбойничий ветер, исхлестывая травы под сизым лунным светом, и скрип множества телег на пыльных дорогах перемешивался с первобытной трескотней кузнечиков, заселивших сопровождающим звоном многоверстные пространства, днем выжигаемые злым солнцем до колючей терпкости пахнущего лошаадьми воздуха...

Но первое, что я помню, — это высокий берег реки, где мы остановились после ночного переезда.

Я сижу в траве, укутанный в овчинный тулуп, сижу среди сгрудившихся тесной кучкой моих братьев и сестер, а рядом тоже укутанная в палас сидит какая-то бабушка, кроткая, уютная, домашняя. Она наклонилась к нам, своим телом согревая и защищая от рассветного ветерка. И все мы смотрим как очарованные на малиновый, поднявшийся из травы на том берегу шар солнца, такой неправдоподобно

близкий, искрящийся в глаза брызгами лучей, что все мы в затаенном ритуальном восторге сливаемся со всем этим на берегу безымянной степной реки.

Как в кинематографе или во сне, я вижу высокий бугор, и нас на том бугре, наклоненных слева направо, тесную нашу кучку, укутанную тулупами, и бабушку или прабабушку, возвышающуюся над нами, — вижу лицо под деревенским платком; оно рождает детскую защищенность и преданную любовь к ней и ко всей прелести открывшегося на берегу реки степного утра, неотделимого от родного лица никогда позднее не встречавшейся, воображаемой мною бабушки или прабабушки...

Когда же я вспоминаю осколочек полуяви-полусна, то будто впереди открылась вся доброта поднявшегося из травы солнца, встреченного нами в этом длительном переезде куда-то. Куда?

Странно вдвойне: я помню время переездов и приближения к невиданной и неизведанной земле, где все должно быть радостью.

И встает из уголков моей памяти деревянный дом неподалеку от переправы через широкую реку, за которой проступает какой-то расплывчатый в очертаниях город, с церквами и садами, незнакомый большой город.

Я не вижу самого себя — в доме ли я или возле дома? Лишь представляю завалинок, истоптанную копытами дорогу — от дома к реке... И чувствую близость, беспокоящую меня до сих пор.

Но почему во мне, городском человеке, живет это? Все те же толчки крови степных предков? Уже будучи взрослым человеком, я однажды спросил у матери, когда был тот день, тот дождь, и переправа, и город за рекой; она ответила, что меня тогда не было на свете. А вернее — она не помнила того дня, как не помнил и отец одной ночи, которая осталась в моей памяти.

Я лежал на арбе в таком душистом сене, что кружилась голова, и вместе кружилось надо мной звезд-

ное небо, такое устрашающе огромное, какое бывает в ночной степи, там и тайно действительно перестраивались созвездия. В высотах за белым дымом двумя потоками расходился Млечный Путь, что-то происходило, совершалось в небесных глубинах, пугающее и непонятное...

Наша арба переваливалась по степной дороге, я плыл между небом и землей, а внизу вся степь была заполнена металлическим звоном сверчков, не прекращающимся ни на секунду, и казалось мне, что сверлило серебристо в ушах от расплывающегося Млечного Пути.

И по земному подо мной покачивалась, поскрипывала и размеренно двигалась арба, пыль хватала колеса, доносилось пофыркивание невидимых лошадей. Это привычно возвращало меня на землю, в то же время я не мог оторваться от втягивающего своими звездными таинствами неба.

Потом рядом зашевелился отец, я услышал зашпанное покрякивание, ощутил дымок табака, знакомый и терпкий; отец сел на сене, поглядел по сторонам, взял винтовку и двинул затвором с железным стуком, вынул обойму и щелкнул опять, протерев патроны рукавом. Затем отец вполголоса сказал матери, что впереди станица и в ней пошаливают: три дня назад там убили кого-то. Только через несколько лет я выразил словами тот миг нарушенного равновесия, спросив его, убил ли он сам когда-нибудь человека? И как это было? И страшно ли убивать?

В двадцать один год, вернувшись с войны, я этого вопроса отцу уже не задавал.

Но и никогда потом не повторялось того единения с небом, того немого восторга перед всем существующим, что испытал тогда в детстве.

ОТЕЦ

Летний среднеазиатский вечер, сухо шелестят велосипедные шины по тропке вдоль арыка, заросшего карагачами, верхушки которых купаются в неправдоподобно покойном после солнечного ада закате.

Я сижу на раме, вцепившись в руль, мне позволено хозяйничать сигнальным звоночком с полукруглой никелированной головкой и тугим язычком, отгалкивающим палец при нажатии. Велосипед

катится, звоночек тренькает, делая меня взрослым, потому что за спиной отец вращает педали, поскрипывает кожаным седлом, а я чувствую движение его коленей — они то и дело задевают мои ноги в сандалиях.

Куда мы едем? А едем мы в ближнюю чайхану, что находится на углу Конвойной и Самаркандской, под старыми тутовниками на берегах арыка, который по вечернему бормочет между глинобитными дувалами. Потом мы сидим за столиком, липким, покрытым клеенкой, пахнувшей дыней, отец заказывает пиво, разговаривает с чайханщиком, усатым, приветливо-крикливым, загорелым. Тот протирает бутылку тряпкой, ставит два стакана перед нами (хотя я не люблю пиво), подмигивает мне, как взрослому, и, наконец, подает в блюдечках жареный миндаль, посыпанный солью... Помню вкус хрустящих на зубах зерен, за чайханой — силуэты минаретов на закате, плоские крыши в окружении пирамидальных тополей...

Отец, молодой, в белой рубашке, улыбается, смотрит на меня, и мы, будто во всем равные мужчины, наслаждаемся здесь после рабочего дня, вечерним лепетом арыка, зажигающимися огоньками в городе, холодным пивом и пахучим миндалем.

И очень четок в памяти моей еще один вечер.

В маленькой комнате он сидит спиной к окну, а во дворе сумерки, чуть-чуть колышется тюлевая занавеска; и непривычной кажется мне защитного цвета тужурка на нем, и темная полоска пластыря повыше его брови. Я не могу вспомнить, почему отец сидит у окна, но мне представляется, что он вернулся с войны, ранен, разговаривает о чем-то с матерью (говорят они оба неслышными голосами), — и ощущение разлуки, сладкой опасности неизмеримого пространства, лежащего за нашим двором, отцовского мужества, которое было проявлено где-то, заставляет меня испытывать особую близость к нему, похожую на восторг при мысли о домашнем уюте собранной нашей семьи в этой маленькой комнате.

О чем говорил он с матерью, не знаю. Знаю, что тогда и в помине не было войны, однако сумерки во дворе, пластырь на виске отца, его военного покроя

тужурка, задумчивое лицо матери — все так подействовало на мое воображение, что и сейчас я готов поверить: да, в тот вечер отец вернулся, раненый, с фронта. Впрочем, более всего поражает другое: в час победного возвращения (в сорок пятом году), я, подобно отцу, сидел у окна в той же родительской спальне и, как в детстве, снова пережил всю невероятность встречи, как если бы прошлое повторилось. Может быть, то было предвестием моей солдатской судьбы и я прошел по пути, предназначенному отцу, исполнил недоделанное, недоисполненное им? В раннюю пору жизни мы тщеславно преувеличиваем возможности собственных отцов, воображая их все- сильными рыцарями, в то время как они обыкновенные смертные с заурядными заботами.

До сих пор помню день, когда я увидел отца так, как никогда раньше не видел (мне было лет двенадцать), и это ощущение живет во мне виной.

Была весна, я толкался со школьными друзьями около ворот (играли в «жестку» на тротуаре) и вдруг неожиданно заметил знакомую фигуру неподалеку от дома. Мне бросилось в глаза: он оказался невысокого роста, короткий пиджак некрасив, брюки, нелепо поднятые над шиколотками, подчеркивали величину довольно стоптанных старомодных ботинок, а новый галстук, с булавкой, выглядел словно бы ненужным украшением бедняка. Неужели это мой отец? Лицо его всегда выражало доброту, уверенность мужественность, а не усталое равнодушие, оно раньше никогда не было таким немолодым, таким негероически-безрадостным.

И это обнаженно обозначалось — и все вдруг представилось в отце обыденным, унижающим и его, и меня перед школьными моими приятелями, которые молча, нагло, сдерживая смех, смотрели на эти по-клоунски большие поношенные башмаки, выделенные дудочкообразными брюками. Они, мои школьные друзья, готовы были смеяться над ним, над его нелепой походкой, а я, покраснев от стыда и обиды, готов был с защитным криком, оправдывающим отца, броситься в жестокую драку, восстановить святое уважение кулаками.

Но что же произошло со мной? Почему я не бросился в драку с приятелями — боялся потерять их

дружбу? Или не рискнул сам показаться смешным?

Тогда я не думал, что настанет срок, когда в некий день я тоже окажусь чьим-то смешным, нелепым отцом и меня тоже постесняются защитить.

МАТЬ

«Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится вдаль...»

Я сел на диван, чтобы успокоиться, потер лоб, и, когда стал вспоминать слова любимой песни моей матери, показалось, что в этот миг кто-то думал обо мне с такой любовью и тоской, что вскочил, начал ходить по комнате, не зная, что происходит со мной, готовый плакать, просить прощения. Будто сквозной ток доходил до меня через пространство ночи, преодолевая зимний город, и вдруг я понял, что это она, моя старая мать, лежавшая сейчас там, в неприятной больнице, одна, беззащитная перед болью, в забытьи думала обо мне с безмерной любовью, которая бывает на земле только у матерей. Но когда и где я впервые слышал эту простенькую грустную мелодию и почему слова ее были связаны с матерью?

И мне стало представляться, как она босиком ходила по глиняному полу, тонкая, в белой кофточке, напевала негромко прелестным голосом: «Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится вдаль», останавливалась возле окна, улыбалась, поднимала лицо к среднеазиатскому солнцу, сквозившему через ветви карагача. Я видел ее прозрачные от обильного света глаза, ее губы, которые будто влюбленно произносили молитву, говорили о когда-то молодой грусти этому утру, солнцу, плещущему арыку: «Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет...» А я, до восторга влюбленный в мать, не мог понять, кого не было с ней рядом, кого ей было жаль, к кому стремилось ее сердце: ведь отец редко бывал в отъезде. Он боготворил мать, был предан дому, отличался веселым нравом. Порой он носил ее, как ребенка, на руках, целуя ее волосы, а она почему-то обреченно прижималась щекой к его груди.

Однажды услышал я, что она плакала за ширмой, свернувшись калачиком на диване, и, испуганный, бросился к ней, закричал: «Мама, не надо!» Со страхом увидел ее слипшиеся, ресницы, но мать попыта-

лась улыбнуться мне, потом, обняв, начала гладить мою голову нежными пальцами и говорила шепотом, что отчего-то взгрустнулось, но вот прошло, миновало...

Но почему иногда тосковала она? В какие дали, к кому тянуло ее? всю жизнь она верно прожила с отцом, и я не узнал ее тайну...

А теперь в беспамятстве на больничной койке она витала над краем пропасти, и, видимо, в момент краткого просветления вспомнила обо мне с той любовью, с той непереносимой виной в душе. И я ходил по кабинету, стонал, кусал губы, чтобы одной болью заглушить другую, не зная, чем помочь ей, облегчить ее страдания, и бормотал как в беспамятстве незатейливые эти слова:

— Кого-то нет, кого-то жаль...

Наверное, не только у меня бывали минуты, когда не приходило спасение от самого себя.

ОЖИДАНИЕ

Лежал при синеватом свете ночника, никак не мог заснуть, вагон несло, качало среди северной тьмы зимних лесов, мерзло визжали колеса под полом, будто потягивало, тянуло постель то вправо, то влево, и было мне тоскливо и одиноко в холодноватом двухместном купе, и я торопил бешеный бег поезда: скорей, скорей домой!

И вдруг поразился: о, как часто я ожидал тот или иной день, как неблагоприятно отсчитывал время, подгоняя его, уничтожая его одержимым нетерпением! Чего я ожидал? Куда я спешил? И показалось, что почти никогда в прожитой молодости я не жалел, не осознавал утекающего срока, словно бы впереди была счастливая беспредельность, а та каждодневная земная жизнь — замедленная, ненастоящая — имела лишь отдельные вехи радости, все остальное представлялось настоящими промежутками, бесполезными расстояниями, прогонами от станции к станции.

Я неистово торопил время в детстве, ожидая день покупки перочинного ножа, обещанного отцом к Новому году, я с нетерпением торопил дни и часы в надежде увидеть ее, с портфельчиком, в легоньком платьице, в белых носочках, аккуратно ступаю-

щую по плитам тротуара мимо ворот нашего дома. Я ждал того момента, когда она пройдет возле меня, и, омертвев, с презрительной улыбкой влюбленного мальчика наслаждался высокомерным видом ее вздернутого носа, веснушчатого лица, и затем с той же тайной влюбленностью долго провожал глазами две косички, раскачивающиеся на прямой напряженной спине. Тогда ничего не существовало, кроме кратких минут этой встречи, как не существовало и в юности реального бытия тех прикосновений, стояния в подъезде около паровой батареи, когда я ощущал сокровенное тепло ее тела, влагу ее зубов, ее податливые губы, вспухшие в болезненной неутоленности поцелуев. И мы оба, молодые, сильные, изнемогали от неразрешенной до конца нежности, как в сладкой пытке: ее колени прижаты к моим коленям, и, отрешенные от всего человечества, одни на лестничной площадке, под тусклой лампочкой, мы были на последней грани близости, но не переступали эту грань — нас сдерживала стыдливость неопытной чистоты.

За окном исчезали обыденные закономерности, движение земли, созвездий, переставал падать снег над рассветными переулками Замоскворечья, хотя он падал и падал, будто в белой пустоте заваливая мостовые; переставала существовать сама жизнь, и не было смерти, потому что мы не думали ни о жизни, ни о смерти, уже не были подвластны ни времени, ни пространству, — мы создавали, творили что-то особенно главное, сущее, в котором рождалась совсем иная жизнь и совсем иная смерть, неизмеримые сроком двадцатого столетия. Мы возвращались куда-то назад, в бездну первозданной любви, толкнувшие мужчину к женщине, раскрывшие перед ними веру в бессмертие.

Гораздо позднее я понял, что любовь мужчины к женщине есть акт творчества, где оба чувствуют себя святейшими богами, и присутствие власти любви делает человека не покорителем, а безоружным властелином, подчиненным всеобъемлющей доброте природы.

И если бы спросили тогда, согласен ли, готов ли ради встреч с ней в том подъезде, возле паровой батареи, под тусклой лампочкой, ради ее губ, ее дыха-

ния отдать несколько лет своей жизни, я ответил бы с восторгом: да, готов!..

Иногда думаю, что и война была как бы длительным ожиданием, мучительным сроком прерванного свидания с радостью, то есть все, что мы делали, было за дальними границами любви. А впереди, за пожарами задымленного, прорезанного пулеметными трассами горизонта, манила нас надежда на облегчение, мысль о тепле в тихом домике среди леса или на берегу реки, где должна произойти какая-то встреча с незавершенным прошлым и недостижимым будущим. Терпеливое ожидание длило наши дни на простреленных полях и вместе с тем очищало наши души от смрада висящей над окопами смерти.

Я помню первый успех в жизни и предваряющий его звонок по телефону, в котором было обещание этого успеха, долгожданного мною. Я бросил трубку телефона после разговора (никого не было дома) и воскликнул в приливе счастья: «Черт возьми, наконец-то!» И подпрыгнул молодым козлом возле телефона, и начал ходить по комнате, разговаривая сам с собой, потирая грудь. Если бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту со стороны, то подумал бы, вероятно, что перед ним сумасшедший мальчишка. Однако я не сошел с ума, я просто был на пороге того, что представляло важнейшей вехой моей судьбы.

До знаменательного дня, когда должен был я полностью удовлетвориться, ощутить собственное «я» счастливого человека, нужно было еще ждать не один месяц. И если бы опять спросили меня, отдал бы я часть своей жизни за сокращение времени, за то, чтобы приблизить желанную цель, я ответил бы без заминки: да, я готов сократить земной срок...

Разве когда-нибудь раньше я замечал молниеносную быстроту уходящего времени?

И вот сейчас, прожив лучшие годы, переступив срединную грань века, порог зрелости, я не испытываю былой радости завершения. И уже не отдал бы ни часа живого дыхания за нетерпеливое удовлетворение того или иного желания, за краткий миг результата.

Почему? Я постарел? Устал?

Нет, теперь я понимаю, что путь воистину счастливого человека от рождения до последнего раство-

рения в вечности и есть тормозящая неизбежную мглу небытия радость ежедневного существования в окружающем мире, и я поздно осознаю: какая же бессмысленность торопить и вычеркивать ожиданием цели дни, то есть неповторимость мгновений жизни, данной нам единый раз, как драгоценный подарок.

И все-таки: чего я жду?..

МИГ

Она сказала, прижимаясь к нему:

– Как быстро прошла молодость!.. Любили мы друг друга или не любили – как это забыть можно? Сколько прошло времени с того момента, когда мы познакомились, – один час или вся жизнь?

Был погашен свет, с ночной улицы доносился глуховатый, затихающий шум, однозвучно постукивали часы, поставленные звонить (он это знал) на половину седьмого утра, – и все представлялось, неизменным, как эта полночь и завтрашнее утро, которое обязательно должно наступить, с привычным вставанием, умыванием, завтраком, работой...

И вдруг ощущение остановленного колеса времени, ежедневно и еженощно крутящегося как бы вне сознания, выхватило его и понесло в скользкую бездонность, где не было ни дня, ни ночи, ни темноты, ни света, где не за что было зацепиться памятью, и он почувствовал себя бестелесной тенью, без измерения и формы, без прошлого и настоящего, без биографий, желаний, без отсчета лет.

Целая его жизнь спрессовалась в один миг и этим мгновением уничтожилась: прожитые годы, сбывшиеся надежды, молодость, любовь, рождение детей, здоровье (они, эти прошлые годы, канули куда-то) и не мог представить будущее – не подобное ли испытывает живая песчинка, затерянная и обреченная раствориться в безмерности, в пространстве?

И все-таки это был миг не песчинки, и оттого, что он уловил и понял эти открывшиеся голгофные секунды, ему стало невыносимо жаль и себя, и ее, женщину, которую любил, с которой прожил и разделил все в жизни. И подумал о том, что если она, всегда сдержанная, сказала об ушедшем времени, то утрата коснулась их обоих.

Он поцеловал ее с нежностью и шепотом пожелал: «Спокойной ночи, прости меня».

Закрыв глаза, он попытался не думать. Ему было не по себе от внезапно открывшихся ворот в нежное, бесприютное скитание своего сознания, необъяснимо потерявшего память о молодости.

СЧАСТЬЕ

Муж бросил меня, и я осталась с двумя детьми, но из-за моей болезни их воспитывали мои отец и мать.

Помню, когда я была в доме родителей, мне не спалось. Я вышла на кухню, чтобы покурить, успокоиться. А на кухне горел свет, и там был отец. Он писал какую-то работу по ночам и тоже вышел на кухню покурить. Услышав мои шаги, он обернулся, и лицо его показалось таким усталым, что я подумала: что он болен. Мне стало так жаль его, что я сказала: «Вот, папа, мы с тобой оба не спим и оба мы с тобой несчастливы». — «Несчастливы? — повторил он и посмотрел на меня, вроде бы ничего не понимая, заморгал добрыми глазами. — Что ты, милая! О чем ты?.. Все живы, все в сборе в моем доме — вот я и счастлив!» Я всхлинула, а он обнял меня, как маленькую. Чтоб были все вместе — ему больше ничего не нужно было, и он готов был ради этого работать день и ночь.

А когда я уезжала к себе на квартиру, они, мать и отец, стояли на лестничной площадке, и плакали, и махали, и повторяли мне вслед: «Мы любим тебя, мы любим тебя...» Как много и мало нужно человеку для счастья, не правда ли?

КРИК

Была осень, осыпались листья, скользили по асфальту мимо пригретых бабьим летом стен домов. В этом уголке московской улицы уже до ступиц утопали в шуршащих ворохах колеса машин, как бы покинутых вдоль обочин. Листья лежали на крыльях, собирались кучками на ветровых стеклах, а я шел и думал: «До чего хороша поздняя осень — ее винный запах, ее листья на тротуарах, на машинах, ее горная свежежность... Да, все естественно и потому прекрасно!..»

И тут мне слышалось, что где-то в доме, над этими тротуарами, одинокими машинами, засыпанными листьями, кричала женщина.

Я остановился, глядя на верхние окна, пронзенный криком боли, как будто там, на верхних этажах обычного московского дома, мучали, пытали кого-то, заставляя корчиться, извиваться под каленым железом. Окна были одинаково по предзримому закрыты наглухо, а крик женщины то затихал наверху, то нарастал нечеловеческим воплем, визгом, рыданиями крайнего отчаяния.

Что там было? Кто мучил ее? Зачем? Почему она рыдала так страшно?

И все погасло во мне — и богоданный московский листопад, и умиление порой бабьего лета, и почудилось, что это кричало от непереносимой боли само человечество, потерявшее ощущение блага всего сущего — неповторимого своего существования.

Главная проблема Запада — пропасть между духовными запросами человека и его материально-плотским существованием — рождает размытость жизнеспособной моральной доктрины.

Современные буржуазные социологи объясняют новые эрзац-чувства стальной поступью «индустриального общества», называя преступником века научно-технический прогресс, который раздавил человека машинами и вещами, опошлив и подменив его мысли либо хватательным инстинктом, либо рефлексом на физиологические удовольствия.

И в литературе возникают апокалипсические параболы, идеи тотальной судьбы, тусклый контур грядущего дня человечества на отравленной, выжженной и обезвоженной планете, и вырастают «границы между „я“ и „не-я“». Возникает отчуждение, ибо «истин на земле столько, сколько и людей». И потеряна нравственность, первоэлемент общественных установлений (благороднейший тормоз свинцовых инстинктов). На замену пришло судорожное развлечение, дьявольский знак бегства от самих себя, от одиночества в каменных лабиринтах городов, где целая индустрия лжеискусства пытается заполнить духовный вакуум в последние два десятилетия, превратив искусство, в прибыльную коммерцию. Поэтому не являются ли секс, нарко-

тики, алкоголь беспомощными врачами душевного одиночества?

Стереотипный стандарт «массовой литературы» заменили индивидуальности талантов, и это преддверие искусства постиндустриального общества.

Мы знаем, что целые культуры рано или поздно исчерпывали свои возможности и погибали, как и внешне, казалось бы, всеильные цивилизации, погребенные песками пустыни.

Что ж, может быть, культура Европы прошла свой зенит и в течение последних двадцати лет неуклонно сползает к унылому закату, о чем еще в начале века писал Освальд Шпенглер? Или, может быть, эта буржуазная культура, задохнувшись в машинной цивилизации, утратила духовную силу, передав маршалский жезл социологическому репортажу и «массовым» романам, низкий художественный уровень которых размыл критерии? Синтетикой, излишеством вещей и алчностью опрокинут, погребен эстетический кумир, и европеизм, анемичный, постаревший, напоминает уже орла с восковыми крыльями — куда и сколько ему лететь?

Для того чтобы продолжать любить человека, современному художнику нужны прочные точки опоры.

Когда мы говорим о научно-технической революции развитого социалистического общества, о высокомеханизированной цивилизации XX века, мы, конечно же, думаем о науке как об импульсе прогресса, как о рычаге, поворачивающем индивида не к миру вещей, его поглощающих, а к духовному богатству для всех. Подчиняясь нравственным законам, человек должен осознать, что век электроники и кибернетики, господство машин — это не самоцель, не прогресс ради прогресса, а ступень исторической судьбы человечества, рубеж познания, через который ему суждено пройти.

Люди готовы обвинять технику, забывая о том, что техника подчинена людям, действительным виновникам убийства и самих себя. И здесь возникают проблемы социальные.

Теоретики постиндустриального общества утверждают, что научно-технический прогресс отменит идеологию, заменив ее наукой, то есть тезис «деиде-

ологизации» отрицает социальное преобразование современной капиталистической структуры. Все эти антимарксистские теории напоминают многолетние и многошумные дискуссии о моноромане и центробежной и центростремительной прозе, об антиромане и романе-репортаже, о романе-информации и романе экзистенциалистском — во всех пен-клубовских диспутах недоставало «жизни как она есть» и не хватало надежды.

Оптимизм? Вера в добро? Вера в человека? Но оправдан ли эпохой этот оптимизм? Десятнадцатый век был временем критического реализма. Не заслуживает ли критики наш индустриальный век?

В советской литературе нет всемирного пессимизма, нет черного юмора, балаганного святотатства, ибо искусство наше подчинено этическому началу, где герой, как правило, делает выбор не ради эгоцентрического «я».

Советской литературе не присущи морализаторство и роль исправителя рода человеческого, на что претендовала Библия — эта самая известная книга мира, набор мифов, законоустановлений и советов, догматическое руководство к действию, нередко поражающее бесцеремонной непрерываемой властью.

Завтрашний век, что уже не за семью печатями, признает и укрепит нашу литературу как «доктрину добра» — она пытается сказать о революционной эпохе на земле, о человеке этой эпохи, сказать не нечто, не что-то, а сказать все.

В поисках истины мы не были пленниками идеалистического иррационализма, разочаровывались в человеке и не были приверженцами асоциальных направлений.

Слово родилось прежде философии, политики, социологии и всех научных систем; слово родило идеи человечности, без которых искусство и литература, вырождаясь, превращаются в зеркало жалкого развлечения, отражая бытовые случаи на житейских перекрестках.

Шедевр в прозе появляется на свет, когда диктатура идей родственно соединяется с диктатурой обрза.

О любой литературе не следует судить по ее сред-

нему уровню, как судят об обществе социологи. То, что писал Толстой, по сравнению с латинской литературой иному интеллектуалу западного толка мнится тривиальным, но стоит ли спорить против «авангардизма наоборот»?

И хотя подчас сложно провести границу между великим и смешным, мы склонны говорить, что поверхностное искусство всегда претендует быть прямым и кокетливо-модным, в то время как подлинное искусство — это не изобразитель «личных впечатлений», а целый мир, воспринятый сквозь разум и чувства при постоянном присутствии Верховного судьи, приведенного к присяге. Имя этого судьи — правда.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Когда прошли равнины Польши и приблизились к границе Чехословакии, полузабытый довоенный зеленый мир юности приблизился вдруг, стал сниться нам в глухие осенние ночи под мрачный скрип сосен, под стук пулеметных очередей на высотах. Тогда преследовали меня одни и те же сны — в них все было «когда-то»...

Просыпаясь в окопе, я чувствовал, как рассветным холодом несло с вершин Карпат, как холодела под туманом земля, исчерненная воронками. И, глядя на спящих возле орудий солдат, с усилием вспоминал сон: в траве знойно трещали кузнечики, парная июльская духота стояла в окутанном паутиной ельнике, потом с громом и с молниями обрушивалась лавина короткого дождя; затем — на сочно зазеленевшей поляне намокшая волейбольная сетка, синий дымок самоваров на даче под Москвой.

И как бы несовместимо с этим другой сон: крупный снег, неторопливо падающий вокруг фонарей в переулках Замоскворечья, мохнатый снег на воротнике у нее, имя которой я забыл, белеет на бровях, на ресницах, я вижу внимательно поднятое лицо; в руках у нас обоих коньки. Мы вернулись с катка. Мы стоим на углу, и я знаю: через несколько минут надо расстаться.

Эти несвязные видения не были законченными снами, это возникало как отблеск, когда мы глохли от разрывов снарядов, режущего визга осколков, автоматных очередей, когда ничего не существовало,

кроме железного гула, скрежета ползущих на орудия немецких танков, раскаленных до фиолетового свечения стволов, потных лиц солдат, наводчика, прикинувшего к наглазнику панорамы, осиплых команд, горящей травы вблизи огневой.

Удаляясь, уходя из дома, мы упорно шли к нему. Чем ближе была Германия, тем ближе был дом, тем быстрее мы возвращались в прерванную войной юность.

Нам было тогда и по двадцать лет и по сорок одновременно.

За четыре года войны, каждый час чувствуя огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщено, что хватило бы на жизнь двум поколениям.

Мы узнали, что мир и прочен и зыбок. Порой мы ненавидели солнце — оно обещало летнюю погоду и, значит, косяки пикирующих «юнкеров». Мы узнали, что солнце может ласково согреть не только летом, но и поздней осенью, и в жесточайшие январские морозы, но вместе с тем равнодушно обнажать во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых еще вчера мы называли по имени. Мы узнавали мир вместе с человеческим подвигом и страданиями.

Кто из нас мог сказать раньше, что трава может быть аспидной и закручиваться спиралью от разрывов танковых снарядов? Кто мог представить, что когда-нибудь увидит на женственных ромашках, этих символах любви, капли крови твоего друга, убитого автоматной очередью?

Мы входили в разрушенные города, зияющие провалами окон и подъездов; поваленные фонари с разбитыми стеклами не освещали толпы гуляющих на израненных воронками тротуарах, и не было слышно смеха, не звучала музыка, не загорались огоньки папирос под обугленными тополями парков.

В Польше мы увидели гигантский лагерь уничтожения — Освенцим, фашистский комбинат смерти,

день и ночь работавший с дьявольской пунктуальностью, окрест него весь воздух пахнул запахом человеческого пепла.

Мы узнали, что такое фашизм во всей его чело-веконенавистнической наготе. За четыре года войны мое поколение познало многое, но наше внутреннее зрение воспринимало только две краски: солнечно-белую и масляно-черную. Радужные цвета спектра отсутствовали.

Мы стреляли по черным крестам танков и бронетранспортеров, по черной свастике, по средневеково-черным готическим городам, превращенным в крепости.

Война была беспощадной и грубой школой, мы сидели не за партами, в аудиториях, и перед нами были не конспекты, а бронебойные снаряды и пулеметные гашетки. Мы еще не обладали жизненным опытом и вследствие этого не знали простых вещей, в будничной жизни, — мы не знали, в какой руке держать вилку, и забывали обыденные нормы поведения, мы скрывали нежность и доброту. Слова «книги», «настольная лампа», «благодарю вас», «простите, пожалуйста», «покой», «усталость» звучали для нас на незнакомом и несбыточном языке.

Но наш душевный опыт был переполнен до предела, мы могли плакать не от горя, а от ненависти и могли по-детски радоваться весеннему косяку журавлей, как никогда не радовались — ни до войны, ни после войны. Помню, в предгорьях Карпат первые треугольники журавлей появились в небе, протянулись в белых, как прозрачный дым, весенних разводах облаков над нашими окопами — и мы зачарованно смотрели, угадывали их путь в Россию. Мы смотрели на них до тех пор, пока гитлеровцы из своих окопов не открыли автоматный огонь по этим косякам, трассирующие пули расстроили журавлиные цепочки, и мы в гневе открыли огонь по фашистским окопам.

Неиссякаемое чувство ненависти в наших душах было тем ожесточеннее, чем раннее было ощущение юного и солнечного мира наших ожиданий — все это жило в нас, снилось нам. Это сообщало нам силы, рождало терпение. Это заставляло нас брать высоты, казавшиеся недоступными.

Наше поколение — те, что остались в живых, — вернулось с войны, сумев сохранить, в себе этот чистый, лучезарный мир, непреходящую веру в будущее, в молодость, в надежду. Но мы стали неприимее к несправедливости, добрее к добру, наша совесть стала вторым сердцем. Ведь эта совесть была оплачена кровью. И вместе с тем четыре года войны мы сохраняли в душе естественный цвет неба, улыбку любимой женщины, мягкий блеск фонарей в сумерках и вечерний снегопад...

Война уже стала историей. Но так ли это?

Для меня ясно одно: главные участники истории — это Люди и Время. Не забывать Время — значит не забывать Людей, не забывать Людей — значит не забывать Время. Быть историчным — это быть современным. Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулезной точностью подсчитывают историки. Да, они подсчитывают количество потерь, определяют вехи Времени. Но они не смогут подслушать разговор солдат в окопе перед атакой, увидеть слезы в глазах восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулеметной очереди, убивающей жизнь.

В нашей крови пульсируют токи тех людей, что жили в Истории. Они не знали и не могли знать, что знаем мы, но они чувствовали то, что уже не чувствуем мы. При ежесекундном взгляде в лицо смерти все обострено, сконцентрировано в человеческой душе.

И вот этот фокус чувств чрезвычайно дорог мне.

НА РАССВЕТЕ ПОСЛЕ БОЯ

Всю жизнь память задавала мне загадки, выхватывая, приближая часы и минуты из военного времени, будто готово быть со мной неразлучно. Сегодня вдруг явилось раннее летнее утро, расплывчатые силуэты подбитых танков и около орудия два лица, заспанных, в пороховой гари, одно пожилое, хмурое, другое совсем мальчишеское, — увидел эти лица до того выпукло, что почудилось: не вчера ли мы расстались? И дошли до меня их голоса, как если бы они звучали в траншее, в нескольких шагах:

— Утянули, а? Вот фрицы, тудыть иху муху! Восемнадцать танков наша батарея подбила, а восемь осталось. Вон, считай... Десять, стальть, утянули ночью. Тягач всю ночь в нейтралке гудел.

— Как же это? И мы — ничего?..

— Как, как. Раскакался! Зацеплял тросом и тянул к себе.

— И вы не видели? Не слышали?

— Почему не видели, не слышали? Видели и слышали. Я вот всю ночь мотор в лощине слышал, когда ты дрых. И движение там было. Поэтому пошел, капитану доложил: никак, опять атаковать ночью или к утру готовятся. А капитан говорит: подбитые свои танки утягивают. Да пусть, говорит, все равно не уташат, скоро вперед пойдем. Стальть, двинем скоро, школьная твоя голова!

— Ах, здорово! Веселей будет! Надоело тут, в оброне. Страсть надоело...

— То-то. Глуп ты еще. До несурзости. Наступление вести — не задом трясти. Весело на войне только дуракам бывает и таким гусарам, как ты...

Странно, в памяти осталась фамилия пожилого солдата, дошедшего со мной до Карпат. Фамилия же молодого исчезла, как исчез он сам в первом бою наступления, зарытый в конце той самой лощины, откуда немцы ночью вытягивали свои подбитые танки. Фамилия пожилого солдата была Тимофеев.

НЕИСТОВСТВО

Море гремело пушечными раскатами, било в мол, взрывалось снарядами по одной линии. Обдавая соленой пылью, фонтаны взлетали выше здания морского вокзала. Вода опадала и снова катилась, обрушиваясь на мол, и фосфорно вспыхивала извивающейся шипящей горой исполинская волна. Сотрясая берег, она ревела, взлетала к лохматому небу, и было видно, как в бухте мотало на якорях трехмачтовый парусник «Альфа», раскачивало, бросало из стороны в сторону, накрытые брезентом, без огней, катера у причалов. Две шлюпки с проломанными бортами выкинуло на песок. Кассы морского вокзала наглухо закрыты, везде пустыньность, ни единого человека на ненастном ночном пляже, и я, продрогнув на сатанинском ве-

тру, кутаясь в плащ, шел в хлюпающих ботинках, шел один, наслаждаясь штормом, грохотом, залпами гигантских разрывов, звоном стекол разбитых фонарей, солью брызг на губах, в то же время чувствуя, что происходит какое-то апокалипсическое таинство гнева природы, с неверием помня, что еще вчера была лунная ночь, море спало, не дышало, было плоско как стекло.

Не напоминает ли все это человеческое общество, которое в непредуганном общем взрыве может дойти до крайнего неистовства?

ЗЕРКАЛО

Она не видела меня, спящего за ширмой, и я проснулся от шагов в комнате, от ее протяжного, голоса: — Как я рада видеть тебя!..

Она, нагая, стояла перед зеркалом, внимательно вглядываясь в свои глаза, улыбалась, хмурилась, трогала коротко подстриженные волосы, гладила кончиками пальцев маленькую грудь, следя за этими прикосновениями, потом, опять улыбаясь, сказала сквозь стон как страшно, и закинула руки, охватила затылок, я увидел и ее поднятую грудь, и темные островки подмышек...

С каким-то непонятным мне выражением боли она закрыла глаза, приблизилась к зеркалу и раздвинула губы навстречу другим, раздвинутым, готовым к поцелую губам. Гладкая поверхность зеркала затуманилась от ее дыхания, и я услышал ее шепот:

— Неужели так? Неужели?.. Как страшно...

Она спрашивала себя, нет, она спрашивала кого-то, преображенного в зеркальном отражении, и вся доверялась, его объятиям, убежденная, что никто не видит ее, обнаженную, бесстыдную богиню, с ее юной чистотой и с чем-то новым, неизбежным, что было связано с этим двойником в зеркале.

И мальчишеская моя непорочность была потрясена впервые женской незащищенностью, этой любовной игры, еще не испытанной, ожидаемой ею. В невинной отрешенности она хотела увидеть, представить себя, и я, стораю со стыда, испытывал к ней неприязнь, накрылся с головой одеялом, пугающей силой ее наготы, ее изумленным вскрикивающим шепотом:

– Ты не спишь? Ты разве не спишь?

С моей головы резко сдернули одеяло. И, увидев ее разгневанные глаза, я понял, что она услышала меня, и, молчал, готовый умереть в позоре.

– Ты, значит, не спал, негодный мальчишка? Ты видел? – спросила она, наклоняясь надо мной, заглядывая непрощающей жутью глаз мне в зрачки. – Ты видел меня в зеркале, противный? – повторила она шепотом и прищурилась, задрожала ресницами. – Так вот слушай, негодяй, тебе все приснилось, все приснилось! Все, все приснилось!..

Она больно дернула меня за ухо и, прикусив губы, выбежала в другую комнату.

Что ж это огромное старинное трюмо, стоявшее между двух окон, имевшее, поэтому особую серебристую глубину, всегда притягивало меня и одновременно отталкивало. Оно несколько раз соприкасалось моей душе в детстве с чужой какой-то мистической волей властно подчиняя подсознательному любопытству, чему я удивляюсь до сих пор: все, кто приезжал к отцу, в нашу маленькую квартирку на Якиманке, друзья и знакомые, почему-то обращали на трюмо внимание, могли простаивать перед ним минутами. Но после того как я невзначай увидел перед зеркалом свою дальнюю родственницу, жившую тогда у нас, было уже неловко видеть мать, тщательно причесывающуюся по утрам, словно родное до каждой черточки лицо могло измениться в зеркале.

Однако отталкивающую неприязнь стал испытывать я к старинному трюмо, когда однажды приехал к нам из Свердловска друг отца, с которым в молодости они устанавливали советскую власть на Урале. Друг отца работал на строительстве завода, приехал поздним вечером, без предупреждающего письма, без телеграммы. Был этот человек в кожаной кепке, в сапогах и плаще, пахнувших переполненным вагоном, захолустными вокзалами, и внес он в квартиру едкий сквознячок тревоги, заметной по нахмуренным бровям отца, по лицу матери.

Закрыв дверь в смежную комнату, они проговорили всю ночь, пили водку, кричали не в голос, а шепотом; друг отца, как мне показалось, неумело, как-то и страшно плакал, вроде бы умоляя о помощи, повторяя имя отца: «Митя, Митя, пойми...» – и

помню непрерываемый возглас отца в тишине: «Нет, Степан, нет тебе оправдания...»

Уже на рассвете мать вошла в мою комнату, усталая, медлительная, и принялась стелить гостю на диване, то и дело оглядываясь на дверь, за которой не смолкали приглушенные голоса.

Я не в силах был заснуть, чувствуя, что в соседней комнате происходит тревожное, опасное, связанное с нашей семьей, с отцом и матерью, похожее на запоздалое предупреждение о беде, которую привез сегодня отцовский товарищ.

Сон скоро опрокинул меня, а когда я проснулся, было светло в комнате и кто-то ходил за ширмой, стонал, прерывисто мычал, как под пыткой. Друг отца; раздевшись до нижнего белья, босиком, неуклюже, по-бычьей, из угла в угол метался по комнате, натываясь на стулья, тер двумя руками крупное хмельное лицо, чудилось – хотел закричать, но только сильные звуки вырывались из его горла. – Гос-поди, прости меня!.. – вдруг выговорил он так судорожно, что я зажмурился от его вскрика мольбы. – Я не хотел! – повторил он, останавливаясь перед трюмо, огромнотельный, в исподней рубахе и кальсонах, и начал вглядываться в свое грубое лицо, обмоченное слезами. – Я не виноват... Я не хотел... Митя, не хотел!..

Он стоял подле зеркала, охватив щеки, покачиваясь, подобно деревенской женщине в состоянии горя, и моргал, стонал с отвращением, будто бы самому себе изображая безысходную игру в горе, и было какое-то противоестественное смешение искреннего отчаяния и попытки изобразить, увидеть в зеркале свое отчаяние. Что это было? Жалость к себе? Упивание сумасшествием раскаяния? Исход душевного грехопадения? Он при этом поворачивал лицо то вправо, то влево, оскаливаясь, со всхлипами выдавливал из глаз слезы, ненавистно что-то шепча зеркалу.

Потом я увидел, как он рухнул на колени и глазами, отрекаясь от самого себя, мотая изуродованным в сладострастном покаянии лицом, глядя в зеркало на свой по-клоунски отраженный кающийся второй облик, выговорил умоляюще и сипло:

– Гос-споди, прости меня!.. Митя, прости меня, прости меня... или убей меня!.. Я подлец, подлец, подлец!..

И, зарыдав, дополз на коленях до дивана, упал на него грудью, бормоча в подушку неразборчивые слова, потом разом затих, засопел, бугор его широкой спины подымался и опускался под свистящий тяжкий сап.

Я не видел, как утром он уехал, поэтому не знаю, простился ли с ним отец или гость уехал, ни с кем не попрощавшись, избегая недоговоренных слов ночью.

Детским чутьем я догадывался, что неожиданный гость предал старую дружбу отца, привез с собой непростительную вину, заметно изменившую покой в нашей семье. Отец стал молчалив, замкнут, я не раз ночью просыпался от негромкого разговора в другой комнате, видел в раскрытую дверь фигуру отца и фигуру матери у окна, они всматривались из-за отодвинутой занавески в сумрак двора. А там, мне казалось, звучали шаги по асфальту, слегка хлопала дверца автомобиля, и выходил, направляясь к нашему парадному, гость отца в дверь никто не звонил. И тут отец торопливо чиркал спичкой, закуривал (зарезво вспыхивало и гасло в другой комнате), а мать, с облегченным вздохом обняв его, целовала в подбородок, и молочный лунный свет на полу, и шорох в другой комнате, и успокаивающий шепот матери запомнились мне необыкновенно ясно.

Я ненавидел это зеркало, которое хранило слишком много, когда я мальчишка, рассматривал в нем не героическое лицо человека, которым хотел быть я, а смущенную улыбку, прыщики на лбу, длинную шею...

Это был мой двойник, возникающий в плоскостных пространствах, облик правды, ничем не прикрашенной, сама естественность, — и мальчишеское разочаровывающее познание собственной плоти угнетало меня невыносимой тоской по обретению мужества. Где был я и где не я? Кто с таким длительным вниманием рассматривал меня из второй жизни зеркала?

Мне до сих пор кажется, что зеркало знает о нас больше, чем мы о нем, что оно обладает силой правды и строгого напоминания о неизбежной конечности желаний.

Когда утром вы замечаете на лице своего двойника бледность утомления грустного опыта, новые морщинки вокруг глаз, не кажется ли вам, что все продолжительнее, все настойчивее звонят дальние колокола?

ОСЕНЬЮ

Поздним октябрьским вечером, наполненным ветром, близких холодов, я остановился перед дачей совершенно один под блещущими зигзагами созвездий, где-то плыла отдаленная музыка, пел женский голос, как показалось, об ушедших днях, об утраченном лете: была включена радиола, видимо, в санатории.

Долго смотрел в чашу деревьев, на знакомый в листьях забор, словно все это, и забор и деревья, и музыка — перенеслось на десятки лет назад, в пору, ушедшую, полузабытую, которой как бы и не было. Где это было? Когда?

Да, ведь тогда была война, осень, окраина, заборы, редкие фонари, скрипящие на ветру, и я шел мимо этих заборов на окраине, семнадцатилетний курсант пехотного училища, голодный, влюбленный, еще не знающий, что такое война, но мечтающий о подвигах так, как может мечтать мальчик в семнадцать лет, с верой в бессмертие, славу, в восхищенные от любви глаза той, которая терпеливо ждала меня вечерами в маленьком актюбинском дворе.

Я ждал впереди целую жизнь. Я верил в нескончаемость своей юности, и все было юным: и она, и я, и фонари на ветру, и окраина, и осень...

Неужели это были лучшие дни моей жизни?

В НЕКИЙ ЧАС

Неужели через несколько дней ему не суждено проснуться, увидеть раннее солнце над крышами, пойти утром в ванную, тщательно, долго бриться, привычно рассматривая лицо, или с наслаждением выпить рюмку водки перед обедом, или вечером подышать воздухом на бульваре, с зажженными фонарями? Да, он не сможет даже думать, что

думает... Все одновременно оборвется, канет в ничто... Неужели, неужели исчезнут небо, воздух, шум улицы, гудки автомобилей, людские голоса, утренняя газета после завтрака, глаза жены, длинноногая и длиннорукая дочь, звонки телефонов? Что ж, постепенно прекратятся звонки – ведь с ним и умрет его энергия, угаснет действие имени, и он не нужен будет никому. Судьба пощадила его на войне. Он спокойно дожил до той поры, когда живые вытесняют мертвых полуравнодушной скорбью, излишним празднеством похорон, уважительной холодностью живых к мертвым, которых быстро перестают и любить и ненавидеть. Он сам не раз испытывал прощальный долг – потушить глаза в минуту молчания, встать, чувствуя неловкость и языческую старомодность ритуала.

В этом прощальном безмолвии кто-нибудь из живых счастливых будет печально смотреть на помятые, засиженные брюки впереди стоящего соседа, думая о неряшливости его, а кто-нибудь украдкой скашивать потупленные глаза на стройные ноги женщины, заметной седым пучком волос на затылке, который как бы не соответствовал этим прямым ногам, и думать о ее преданной связи с покойным, немисливо представляя их вместе. И, вероятно, появятся мысли его личной жизни, о его душевных слабостях, что знали близкие к семье покойного. Потом чей-то старчески скрипучий голос скажет формулу отвратительной мудрости: «Смерть свою причину найдет. Все на одной точке стоим». О, как покойный ненавидел при жизни эти пошлые мудрости бульварных философов!..

И, забираясь в предсмертные высоты, где не было никакого спасения, вспомнил первую женщину, оставшуюся в довоенной юности, но которую то ли в действительности, то ли в юном воображении любил с той непорочной чистотой и самоотречением, каких не испытывал позднее.

Но все-таки...

Наверное, где-то там есть свой список, и ежедневно некая рука с усталой небрежностью ставит крестик или галочку напротив какого-либо имени – и тот, кто носил это имя на земле, покидает ее в срок намеченный.

В выборе этом часто нет благоразумного, логического порядка и нет верховной справедливости (так нам кажется), и мы говорим о неисповедимых путях, о високосном годе, прошедшем с косою по знакомым и близким нашим, по совсем молодым людям, а слова «инфаркт» и «рак» стали уже эмоционально равнозначны понятиям «война» и «смерть».

Раз мой приятель, вернувшись из больницы и идя со мной вечером из ресторана сказал:

– Если зажечь над окнами всех смертельно больных всего мира красные лампочки, нас потрясла бы эта страшная иллюминация!

Но все-таки... все-таки есть ли там, в запредельных списках, норма справедливости, не перепутываются ли эти списки кем-то с мстительным упорством не опахивает ли казнящее крыло, обдавая вне очереди обреченные имена запахом жженой горечи?

Или, может быть, истина в сердцевине закона кажущегося равновесия?

МОЛИТВА

...И если на то будет Воля Твоя, то оставь меня на некоторое время в этой моей скромной и, конечно, грешной жизни, потому что в родной моей России я узнал много печали ее, но еще не узнал до конца земную красоту, таинственность ее, чудо ее и прелесть.

Но дано ли будет это познание несовершенному разуму? ■

P.S.: _____

Редакция «Родной Кубани» поздравляет героического воина, достойнейшего сына России, великого писателя Юрия Васильевича Бондарева с юбилеем!